



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

В МИРЕ НЕВЕРИЯ И СУЕТЫ МЫ ДВИЖИМЫ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

В этом году журналу «Время и мы» исполняется четверть века. Издатель и главный редактор журнале Виктор Перельман дает интервью писателю Мирону Рейделю.

М.Р. Чтобы не интриговать читателя, скажите, что это все-таки за цель, которую ставит перед собой редакция?

В.П. К этому мы еще подойдем, но в двух словах цель эта была определена в первом номере журнала. В его редакционном предуведомлении говорилось, что мы исполнены одной лишь целью «помочь читателю лучше разобраться во времени и в себе...»

М.Р. Согласитесь, что эта, скорее, общая фраза. А как нам представить сам журнал за истекшие четверть века. О чем говорить? О цифрах тиражей? О напечатанных

вещах? О жанрах? О количестве читателей? Или оставить в стороне эту скучную материю и поговорить о делах человеческих — о людях, делавших журнал, о фантастической судьбе редакции, родившейся в Израиле, переехавшей в Америку и ныне, через четверть века, вернувшейся в Россию. И еще о том, с чего все начиналось и как все это выглядит сегодня, в другую совсем эпоху, притом глазами человека, основавшего это беспрецедентное издание и приведшего его к третьему тысячелетию.

В.П. Итак, хотите почувствовать жизнь журнала?.. С чего все начиналось? Но знаете, если опять же за четверть века, то вряд ли получится что-то путное. Разве только отдельные вкрапления, просто фрагменты из редакционной жизни? Не взыщите, если выйдет не совсем логично. Правда, и жизнь в эти четверть века не отличалась особой логикой. Получится, скорее всего, некий поток сознания. Редактора, издателя, свидетеля — считайте кого хотите...

М.Р. Да, этого как раз я и хочу: свободные вопросы, свободные ответы — что волнует всех — о том и говорить. Из прошлого, из настоящего, Израиль, Америка, Россия. Конечно, мозаичность, но, может быть, мозаика как раз и нужна. Но начать все-таки придется с самого начала — никуда нам от него не уйти! Как выглядела первая редколлегия и кто были тогдашние члены редколлегии и кто первый подписчик?

В. П. Думаю, что ни одно издание в мире не имело такую экзотическую редколлегию. Были, конечно, и свои, русские литераторы — ленинградка Наташа Рубинштейн, поэтесса Лия Владимирова, историк Борис Орлов, знаменитый уже тогда Миша Калик... Но рядом... Посмотрите кто был рядом: представитель Израиля в ООН Йосеф Текоа, начальник израильской разведки Аарон Ярив... Что они делали? А ничего не делали! Просто создавая в Израиле такое заморское чудо, как русский литературный журнал, хотелось заручиться поддержкой сильных мира сего. Вот и все. Вы еще спросили, кто был первый подписчик. Ну эту прекрасно-чудную новеллу я

хорошо помню. Журнал не шел, из трех тысяч продали что-то штук девятнадцать. Так что первого подписчика ждали, как манну небесную. Вот сижу я на упомянутых трех тысячах, в десятиметровой комнатухе, которую сняли у престарелых молодоженов Житницких на тель-авивской улице Ибн Гвириоль, и не знаю, куда же деваться с этой ненужной никому горой книг. И когда, наконец, появится первый подписчик, наш добрый ангел, истинный любитель русской литературы! Каким только я его себе не рисовал, этого человека из легенды! А кто появился на самом деле? Держитесь крепче за стул. Держитесь? Так вот, позонивши в дверь к Житницким, входит старый, с палочкой еврей, в каком-то невыносимом балахоне, по акценту явно израильтянин. «Будем, говорит, господа, знакомы, зовут меня Цвийка, фамилия не важно, зовите Рабинович. Аф идиш, разумеете? Нет, конечно! Так вот, господа, желаю иметь абонемент на ваш журнал «Азман ве анахну». Аф руссише «Время и ми». Это еще, думаю, что за театр? Да у него ни гроша за душой — подписчик! Давайте, говорю, любезный, адрес, годовая подписка стоит 55 лир. «Но, но! Мне говорит нужна не одна, а шесть подписок, для моих московских друзей». «А вы понимаете, в какую это вам влетит копеечку?» «А это уж, извините, не ваша забота, мои друзья люди с деньгами, к тому же люди «культуральные», за хороший журнал ни перед чем не постоют».

Не думаю, что вам надо объяснять, кто были Цвийкины друзья и какая организация нас первой поддержала. Кстати, много позже кое-кто из наших доброжелателей нам это вспомнил. Доброжелателей скоро стало довольно много, одни говорили, что мы перекрасившиеся сионисты, другие наоборот, что пробравшиеся антисемиты и русофилы. А третьи? Такие всегда находились — так вот, эти говорили, что «Время и ми» — вообще кегебистский журнал, родное КГБ их с первого дня поддерживало. Что же, доля истины заключалась в их словах. Конечно, было бы гораздо приятнее, если бы нас поддержал родной Сохнут, но кто нас по-настоящему не переваривал — так это Сохнут. Кому нужен этот

антисионистский журнал? — говорили они. Вот и сейчас: оглядываюсь в прошлое — никаким верхам не был интересен наш свободный и независимый журнал — ни в Израиле, ни в Америке, нигде в мире. Разве лишь друзьям Цвийки из незабвенных органов журнал с первого дня оказался нужен, чтобы, по крайней мере, знать, что поделявают их подопечные на своей исторической родине...

М.Р. А ваше название «Время и ми» — как оно появилось? Кстати, где-то оно мне уже встречалось, не помню где.

В.П. Не ломайте голову! Теперь оно уже не только наше, а в некотором смысле обобщественное. С легкой руки Владимира Познера его прибрало в свой золотой фонд московское телевидение, а по его примеру и Нью-йоркское русское радио... По поводу названия, мы однажды чуть не дошли до рукоприкладства с Михаилом Абрамовичем Тартаковским, в прошлом известным ленинградским кардиологом, нашим энтузиастом и большим выдумщиком. Но и он поначалу ничего лучшего, чем «Время», родить не мог. «Конечно, говорил он, «Время!» Чистое, как слеза ребенка!» «Тривиальщина! — отбивался я, — неужели не понятно, что главное это «Мы». «Кто мы? — возмущался он, — Людовик XIV, Николай II?» «А я считаю — «Мы», — стоял я насмерть. «Послушай, у меня уже нет сил! — взмолился он. — Ни по-твоему, ни по-моему: «Время и ми». И сам рассмеялся своему каламбуру. Михаила Абрамовича Тартаковского давно уже нет, а памятник он после себя оставил — название журнала: «Время и ми».

М. Р. Но это же чистый плагиат, литературный разбой — украсть чужое название. Вы не пробовали звонить насчет этого на телевидение, да тому же Владимиру Познеру? Копирайт все-таки...

В. П. Познер был не первым, кто облюбовал «Время и ми». Я слишком хорошо знаю нравы нашего времени и заранее представляю, какой последует ответ. «Да что ты, дед, сбрендил, мелочи жизни! — услышал я в тот первый раз от одного редактора. — Сегодня мы у вас,

завтра вы у нас, как говорила моя бабушка, главное, чтобы не было войны». А с другой стороны, я иногда думаю, может быть, он и прав: в России-то вон что происходит, а мы со своим копирайтом! К тому же, на человека, широко мыслящего, да, если еще с чувством юмора, как осмелиться поднять меч правосудия?

М. Р. Я знаю, что начинали вы с первого русского перевода романа Артура Кестлера «Мрак в полдень». Кажется, автор сам вам после этого написал.

В.П. Нет, нет, переписка началась гораздо позже, когда Кестлер предоставил нам русский копирайт на всю свою публицистику. Помните «Тропа динозавра», «Иуда на перепутье», «Человек — ошибка эволюции», «Ценности в мире фактов»...

М.Р. Но все же это не «Мрак в полдень», воистину украсивший ваш первый номер. Новый литературный журнал, да еще с Кестлером, за которого в России ничего не стоило схлопотать срок! Представляю, какой был праздник, банкет, наверное, устроили?

В.П. Тут вы как раз пальцем в небо. Правда банкет был запланирован, в квартире у Житницких, на другой день после выхода журнала. Но случилось пренеприятнейшее обстоятельство. То есть как пренеприятнейшее? Спустя четверть века все выглядит как анекдот. Подумаешь, какая-то там глазная ошибка! А теперь представьте новоиспеченного редактора, как он, сошедши с ума от счастья, ночью листает еще пахнувший типографской краской журнал — и вдруг, углубившись в первую страницу, чувствует как на лбу выступает холодный пот. От одной увиденной вдруг фразы, одного-единственного слова, которое навсегда врезалось в сознание. Фраза эта была о камере, в которую только что ввели главного героя Николая Залмановича Рубашова. Перед его появлением была сделана дезинфекция, из-за нее, из-за этой дурацкой дезинфекции, я чуть не получил инфаркта. К моему ужасу, было напечатано, не продезинфицировали, а продез-е-нфицировали! После пяти корректорских читок, после того, как полгода мусолили каждую строку, после того, как разрекламировали Кестле-

ра на весь мир! И не где-нибудь в конце, а на первой странице, в четвертом абзаце, первого исторического номера «Время и мы». Теперь, когда я вспоминаю, мне кажется, что у новоиспеченного редактора произошел просто «сдвиг по фазе». Если, вместо банкета, когда уже были накрыты столы, он усадил на всю ночь редакцию (включая восьмидесятилетнюю секретаршу Пнину), делать от руки исправления — во всех трех тысячах отпечатанных экземплярах! Работой руководил 65-летний молодожен Сема Житницкий, считавший себя непревзойденным знатоком русской грамматики и всю ночь изводивший старенькую Пнину: «Пнина, что это у вас за «и»? Не «и», а какой-то инвалид отечественной войны. Вот как «и» делается: «Раз — палка, два палка и диагональ!» Вот смотрите, моя Сонюрка, тоже ведь не сегодня гимназию кончила, а какое у нее «и», сравните ее «и» и ваше!»

М.Р. Все это, действительно, занятно, но с этим «сюрром», мы никогда не подойдем к главному, скажем, к авторам «Время и мы»...

В.П. Но о ком говорить? О живых, мертвых, прозаиках, поэтах? Из каких времен — давно ушедших, нынешних? Знаете, в последнее время у меня все больше претензий к собственной памяти. Ощущение, что создано гигантское сооружение, если хотите, своего рода собор, а меня все время мучают вопросами — кто и какую его часть создавал, кому принадлежит тот или иной портик или порталы. Список наших авторов, даже, если говорить о наиболее талантливых безграничен: ну вот первые, кто приходят на память: Горенштейн, Галич, Бродский, Зиник, Карабчиевский, Тимур Кибиров, Довлатов, Нагибин, Дора Штурман... Даже Джойс, даже Макс Брод, даже Исаак Башевис Зингер — только не будем строить иерархий, кто номер один, кто номер два, предоставим это истории. Существуют еще и редакторские вкусы. Нет более субъективной вещи, чем оценки в литературе. Не говоря уже о том, что ко всему прочему примешивается редакторская ревность — знаменитый Александр Твардовский, создавший не менее знамени-

тый «Новый мир», как говорят, не подпускал к редакции крупных поэтов. Любой из нас — пленник своих страстей и слабостей.

М. Р. Ну а ваши пристрастия? Что по-вашему больше всего привлекает читателей в журнале? Или скажем по-другому — в чем, по-вашему, сила журнала «Время и мы»?

В.П. Отвечая на этот вопрос, такой вселенский остряк, как Сергей Довлатов, пустил гулять по свету такой каламбур (который я уже не раз приводил): «Странный журнал «Время и мы» — прозы нет, поэзии нет, критики нет, а журнал хороший!» Про Довлатова, к которому я еще вернусь, не зря говорили, что ради красного словца не пожалеет он и родного отца! А он-то, может быть, невольно комплимент нам сделал! Журнал, если он настоящий, не есть просто нагромождение материалов (разная там проза, поэзия, критика, публицистика), а есть он гораздо большее, ибо сам по себе он произведение художественное, плод фантазии и творчества. В связи с этим мне приходит в голову Сент-Экзюпери, писавший когда-то — о сущности Собора. «Собор, говорил он, — есть нечто совсем другое, нежели просто нагромождение камней. Собор — это геометрия и архитектура. Не камни определяют собор, а напротив, собор обогащает камни своим особым смыслом. Его камни облагорожены тем, что они камни собора. Самые разнообразные камни служат его единству. Даже уродливые каменные чудовища и те участвуют в гимне собора». Значит, не авторы, во всяком случае, не только авторы, а и мы, редакция, делаем журнал хорошим, мы — его архитекторы! Вот почему разбирать по косточкам достоинства и недостатки издания — последнее дело. Кто больше сделал... Кто меньше... Авторы, редакция... Как говорил поэт, сочтемся славою. «Время и мы» и «Континент» создали имя прозаику Горинштейну, а он своим «Искуплением», и «Бердичевым» создал имя нашему журналу. Один из парижских критиков в те дни писал, что «Искупление» — это гениальная проза, а «Бердичев» — не менее гениальная сатира. 90-страничная повесть

Зиника «Извещение», опубликованная в 8-м номере (кстати, типичный сюрреализм), была прочитана на всех континентах, а благодаря «Блошиному рынку» Галича и двум рассказам Довлатова издательство «Искусство» выпустило в Москве стотысячным тиражом альманах «Время и мы», а в наши дни в Москве из-за прозы Галича начались судебные баталии между его наследниками.

М.Р. Но вы так и не сказали о ваших личных пристрастиях. К чему более всего лежит у вас душа?

В. П. Все в жизни человека проистекает из его юности, хотя на вопрос, каким образом она повлияла на мой редакторский вкус, я вряд ли могу ответить. Вообще-то по происхождению я никакой ни комильфо-редактор, наподобие, скажем, Александру Борисовичу Маковскому, — таких, как я, в мире, где я вырос, на версту не подпускали к редакторству, потому и был я плебей, газетный репортер, фельетонист, всю свою молодость имел дело с конкретными фактами жизни, всякого рода свидетельствами времени. Подобная тенденция, вообще, наблюдается в современной литературе. Читателя все меньше интересует «fiction» и все более литература факта. Вспоминаю, когда в журнале появились воспоминания Марии Михайловны Иоффе, секретаря Троцкого и жены первого советского посла в Германии Адольфа Иоффе (о ней я уже рассказывал в одном из своих интервью). Именно ей, кстати, Троцкий в момент высылки его из Москвы продиктовал свое политическое завещание, которое своими руками запрятал в ее волосах. В памяти этой восьмидесятилетней женщины причудливым образом сохранилась масса фактов и свидетельств давно ушедших лет революции. Я записывал ее на магнитофоне в Герцлии, в Доме престарелых под названием «Бейт-ширена», куда Марию Михайловну поселил Сохнут. С поразительной ясностью всплывали в ее сознании Ленин, Троцкий, Радек, Раковский, дни штурма Зимнего, НЭП... Это была странная беседа, иногда в самом разгаре Мария Михайловна умолкала, и заливаясь слезами, жаловалась, что в часы ее отсутствия сторож Авраам взламывает замок в ее комнате и роется

в ее вещах, что ей достоверно известно, что Авраам — сотрудник КГБ, имеющий задание органов ее убить. 20 лет, проведенных ею в сталинских тюрьмах и лагерях, явно давали о себе знать. Но, как я уже не раз говорил, мы не выбираем себе свидетелей истории — их надо принимать такими, какими они есть. Но из лоскутков и обрывков их памяти — пусть даже памяти, тронутой возрастом» — постепенно складывается достоверная картина прошлого, пусть мозаичная и не совсем полная, но что называется полученная из первых рук и уже по одному этому не имеющая цены. Мемуары Иоффе напомнили мне другую публикацию, кстати тоже документальную. Это воспоминания бывшего Генсека компартии Израиля Самуила Микуниса, с которым я встретился незадолго до его смерти. В глазах Москвы он давно уже числился ревизионистом, так как выступил против арабов в годы шестидневной войны. Никто ему не помогал — ни Кремль, ни Израиль. Жил он в маленькой, заброшенной квартирке и все рвался мне поведать о своем прозрении и симпатиях к Израилю. А я его расспрашивал о его жизни в Москве, о встречах с Хрущевым, Тольятти, Мао Цзе Дуном. Однажды, разоткровенничавшись, он вспомнил о своем разговоре с Молотовым в Кунцевской больнице. Встретив Молотова в коридоре, Микунис потребовал, чтобы тот ответил на вопрос, почему он позволил арестовать свою жену Жемчужину, а Ворошилов в аналогичной ситуации не струсил и воскликнул — «Тут будет стрельба, но жену я никуда не отпускаю!» Молотову нечего было ответить, он пробормотал что-то насчет того, что выполнял решение Политбюро, и посрамленный поспешил скрыться в своей палате. Где, из каких источников журнал мог получить хоть какую-то достоверную информацию о тех временах и подобного рода фактах? А вот вам публикации последних лет. Это, например, литературное исследование Бориса Носика «Анна и Амедео» — о тайной любви Модильяни и Ахматовой или его же «Русские тайны Парижа» — «Маяковский и Брики», «Великий мистификатор Рома Кацев», «Король взаперти» (о великом рус-

ском танцоре Нижинском) или уже совсем недавняя публикация Аси Пекуровской (первой жены Сергея Довлатова) «Довлатов без мифа»... Конечно, это лишь малая капля того, что появилось в журнале за 25 лет. Я ничего не говорил о прозе — киевской писательницы Инны Лесовой или недавно напечатанном романе Бориса Хазанова «Далекое зрелище лесов», в котором автор воссоздает исключительно интересное переплетение времен и эпох. Именно наш журнал еще в конце семидесятых годов открыл этого замечательного и до сих пор не оцененного по заслугам литератора. По оценке критиков его «Час короля», «Я воскресение и Жизнь», «Антивремя — московский роман» оставят след в литературе конца 20 века. Интересно, о чем мечтает Борис Хазанов. Однажды, в ответ на похвалы весьма известного критика, Хазанов воскликнул: «Послушайте, но ведь это же все литература, а как бы вырваться из литературы!» Мы часто сетуем, что в мире происходит падение морали, что он полон не любви, а ненависти, что литература должна переделать этот мир. Но как это сделать? Не становится ли сама литература с ее канонами барьером на пути собственной миссии? Вот это, наверное, и значит «вырваться из литературы» к той высшей правде, которой является сама жизнь.

М.Р. Но если конкретно, что, на ваш взгляд, отличает прозу «Время и мы» от прозы других журналов?

В.П. Боюсь, что какой бы ни последовал ответ, он будет слишком общим. Когда я думаю о нашей прозе, я почему-то вспоминаю Блока, который тяжело и очень по-человечески переживал боли России, и однажды написал, что «Душа мытарствует по России 20 века». Потому и предмет русской литературы — в начале века, и на его исходе — это мытарствующая, одинокая душа человека, которого безжалостно перемальвают жернова истории. Кажется, о совсем разных эпохах и людях пишут авторы «Время и мы». Вот герой Инны Лесовой — униженный и задавленный тяготами жизни русско-еврейский (или еврейско-украинский) провинциал, а вот любимый персонаж Зинника — потерявший всякие ори-

ентиры эмигрант третьей волны («Извещение», «Перемещенное лицо»), а вот Александр Зильбер Карабчиевского («Жизнь Александра Зильбера») — выходец из полуинтеллигентной московской семьи, обреченный на вечную ложь и несправедливость, жизнь которого прослеживает автор, начиная с его послевоенного пионерского детства (этот пронзительно-трагический взгляд Карабчиевского на мир, по-видимому, и привел автора к самоубийству), — так вот все они неприкаянно мытарствуют по России и миру, не находя себе место под солнцем, и чем глубже открываются нам их тайники души, тем большее право называться литературой обретают сочинения писателя. Не знаю, достаточно ли ясно выражена мной эта мысль, но, если бы существовал «коэффициент проникновения» автора во внутренний мир героя, то я бы сделал этот «показатель» главным при оценке художественного произведения.

М.Р. Мне довольно приходилось читать журнал «Время и мы». И в прошлые времена, и в нынешние. Вещи настолько разные, что иногда охватывало ощущение, что они из разных изданий. От некоторых читателей я даже слышал, что в первые годы «Время и мы» был острее, интереснее.

В.П. Тут надо понять главное, что журнал возник на гребне революции — когда эмиграцией был прорван железный занавес, когда в разгаре было диссидентское движение в России. Мы ехали в Израиль, чтобы перевернуть мир, совершить революцию — реформаторы, будущие члены Кнессета, опреснители морской воды. Мы хотели разобраться во времени и в себе, чтобы перестроить жизнь. Но революция эта оказалась никому не нужной. И мы, бунтовщики, полные запала и амбиций, создали свой диссидентский, революционный журнал, со страниц которого хотели бросить вызов не устраивающему нас миру. В журнале «Время и мы» должно печататься все самое интересное, самое острое, самое нетривиальное. И мы твердо следовали этой цели, не случайно именно в те годы появился материал, вызвавший целую бурю в исторической науке «Миф о

Фанни Каплан», автор которого историк и член нашей редколлегии Борис Орлов с историческими свидетельствами в руках доказывал, что укоренившаяся в советской историографии легенда о том, что в Ленина стреляла полуслепая Фанни Каплан — не выдерживает критики фактов и документов. На самом деле выстрел в Ленина был сделан довольно известной в те годы экстремисткой и террористкой Лидией Коноплевой. Именно в те годы, когда мы приехали в Израиль, годы «революции» и «бунта», в редакцию пришли наиболее интересные и необычные авторы, такие как Коржавин с его «Поэмой существования», членом редколлегии стал Виктор Некрасов, Галич принес свой «Блошинный рынок». А однажды в редакцию пришло письмо из Вены, автор которого сообщал, что он едет в Америку, но абсолютно не представляет, что он будет там делать. Он — профессиональный литератор и журналист, но лишенный воздуха и атмосферы редакции, он просто не сможет выжить. «Умоляю, возьмите меня, Виктор, к себе в журнал — готов служить кем угодно — сторожем, швейцаром, мыть посуду, но только в редакции, ни на что другое я просто не способен!» Под письмом стояла подпись «Сергей Довлатов». Когда он прилетел, мы встретились с ним в центре Манхэттена, кажется, на 42-й. До этого дня я даже не мог себе представить, что бывают такие огромные, высокие люди. Когда он куда-то входил (а мы одно за другим обходили местные бистро), он вынужден был слегка наклонять голову, чтобы не стукнуться о притолоку. На другой день он передал мне свою «Невидимую книгу», а немного позже «Соло на Ундервуде», «Купцов и другие» и стал на долгие годы нашим автором.

М.Р. А на что, все-таки существовал журнал? На какие средства?

В. П. Ну что вам сказать? Журнал начинали с нуля — упомянутые молодожены Житницкие сдавали нам комнатку в долг. Ко всему прочему я еще был и приличным авантюристом. Когда получили, наконец, от Сохнута ссуду, я ее бросил не на гонорар, не на зарплату, не на покупку копировальной машины, без которой мы

страшно мучились — а сохнутовскую ссуду (меня просто отдали бы под суд, если бы узнали) я вложил в акции израильского «Банка — Дисконт» — акции пошли вверх, и редакция заработала 300 процентов. Мы купили электронный композер и получили возможность набирать журнал. Сохнутовские стипендии были ниже зарплат уборщиц, авторы писали без гонораров, главное было получить трибуну и возможность высказаться. Откровенно говоря, только в кошмарном сне я мог представить диалоги с авторами, которые нынче приходится вести изо дня в день. На днях я заказывал эссе о российском рынке одному профессиональному литератору, кстати, тонкому, интеллигентному человеку. «Эссе нужно? О чем? О перестройке? А вы, вообще-то платите? Платите — это хорошо! А не сочтите за нескромность — сколько за страницу? У меня, понимаете ли свои расценки — если за страницу меньше десяти долларов — дискуссия закрывается». Что ж, какие времена, такие и песни. Я и сам, возможно, того не замечая, становился другим. Времена наши безжалостны к идеалистам, к которым когда-то я причислял и себя. Если вы спросите меня о сегодняшней, наиглавнейшей цели редакции, я, не моргнув глазом, отвечу — главное заработать деньги. Нет, не для себя — мне-то их хватит до конца жизни, а для журнала — вот кого надо прокормить...

М.Р. Ну и что же удастся вам?

В.П. А вы сами-то как думаете?

М.Р. А что я могу думать? Русский литературный журнал, да еще в эмиграции. Известное дело, каково приходится. И сколько работать.

В.П. Все это так, но еще и везенье должно быть. Надо, чтобы Бог вам помогал. Он и помогал нам многие годы. А потом отвернулся, в один прекрасный день, в день самых больших ожиданий, когда на тель-авивском базаре «Шук Кармель» была похоронена последняя надежда на финансовое процветание журнала. Что, опять ухожу в сторону? Но, заметьте, в сторону жизни, о которой мы ведем разговор. Я не помню точно месяца и года, когда это произошло, помню только, что

дела наши были швах. Собственно, это было обычное наше состояние. Не на что делать очередной номер, нечего платить авторам. И вот, неожиданно фортуна улыбнулась нам — я думал, что улыбнулась. На горизонте появилась семидесятипятилетняя поэтесса Евгения Шрайбер, подписывавшая свои стихи псевдонимом «Евгения Жем». Но она была известна не столько своей поэзией, сколько своим многомиллионным наследством, которое ей оставил муж, когда-то, так же как и она, выходец из России, а впоследствии вице-президент общеевропейского рынка по нефти, первым начавший торговать с Советской Россией. Она жила в Париже и время от времени наезжала в Израиль, писала для «Время и мы» стихи. Журнал ей нравился, и она как-то сказала, что хотела бы дать редакции интервью — свои воспоминания о войне, по напечатании которого она создаст фонд журнала «Время и мы». «Двести тысяч долларов — на первое время хватит?» — спросила она накануне встречи. Это была тяжело больная женщина. Но я мучил ее с диктофоном в отеле «Шератон» что-то часов пять-шесть, — это были воспоминания, по-своему даже интересные, как она попала во время войны в гестапо (где ее пытали и она потеряла глаз), а потом, как они все-таки выбились с мужем в люди. Я чувствовал, как она сильно устала, но не прекращал задавать вопросы — с одной стороны я предвкушал будущую публикацию, а с другой — как наконец станет «Время и мы» богатым, западным изданием. Но как я уже сказал, Бог в этот день оставил меня. Выходя из гостиницы, я вспомнил, что еще утром жена попросила заехать на «Шук Кармель» и купить фруктов. Когда я вернулся с сумками к машине и открыл багажник, я с ужасом обнаружил, что исчез мой «дипломат». В «дипломате» была моя старая записная книжка, семь лир наличными и магнитофонная пленка с шестичасовым интервью госпожи Шрайбер. В полиции, куда я тут же обратился (выясняя, не подбросят ли дипломат), со скучающими лицами выслушали меня и переспросили: «Семь лир, говорите, было? Плохо дело!

Ничего не подбросят, они вам эти семь лир припомнят. В наше время джентльмены перевелись!»

М. Р. А теперь, если можно, о повседневной жизни редакции — кто чем в ней занимается? Сколько в ней человек? Мне рассказывали, что до переезда журнала в Москву, многие годы вы выпускали журнал в одиночку. По правде, я в это не очень верю.

В.П. Да, последние десять, а может быть, даже пятнадцать лет я был совершенно один...

М.Р. Что не сработались? Или что-то еще?

В.П. И это было... Характер у меня не сахар. Но дело, конечно, не в этом, вы затронули очень больной вопрос. Когда-то, в Израиле, нас был целый коллектив — по моему человек шесть или даже семь. Была демократия, до хрипоты спорили, в общем приличный еврейский кагал, когда у каждого была своя точка зрения и каждый готов был за нее сложить голову. Вложив деньги, пусть и очень небольшие, я никогда не вспоминал, что я хозяин и издатель, а когда однажды вспомнил, тогда все и кончилось. Разругались из-за Михаила Демина, брата Трифонова, перебежчика, в прошлом вора и лагерника, автора небестальных и очень популярных романов из воровской жизни. Один из них я предложил напечатать, чтобы любым способом поднять интерес к журналу. Все галдели, что это бульварное чтиво, что это начало конца, конца принципам. Насчет принципов я не соглашался, но про себя не мог не понимать, что иду на компромисс. У меня у самого на душе кошки скребли, но вопрос был не в том, что хорош или плох Демин, а в том, все ли сделано, чтобы спасти журнал, который терял последних подписчиков. На редколлегии у меня не было большинства, но я сказал, что как издатель принимаю единоличное решение — Демина печатать. Так наступил конец нашей демократии. И главное разрыв произошел с теми, с кем я создавал журнал. Я не мог понять, откуда столько неприязни. Вчерашние друзья становились моими врагами: пошли слухи, что я диктатор и со мной невозможно работать. Постепенно слухи утихли, а журнал остался. И издатель продолжал свою деятельность

— но уже в одиночку. Один в джунглях свободы! Это сравнение свободного мира с джунглями, где каждый борется и умирает в одиночку, часто приходило мне в голову. С другой стороны именно тогда я пришел к выводу, что «Время и мы» был и есть капиталистическое предприятие, которое вынуждено жить по законам капитализма и оно работает тем лучше, чем меньше в нем наемных работников. Однажды я повздорил с соседом — владельцем пиццерии, на улице Нахмани, где тогда издавался журнал. Все произошло из-за какой-то ерунды. Но, вспыхнув, я посылая на его голову все напасти. «А я! — воскликнул он, — а я! (никак не мог он придумать, что ответить) а я желаю тебе иметь 25 наемных работников!» Долгие годы я считал, что у меня идеальное положение — все решаю сам, за все сам отвечаю, никаких интриг, никто никого не подсиживает, не наушничает за спиной — ну чем, скажите, не идеал? Я даже выработал такую теорию — причины всех бед российских журналов в том, что все они живут по-социалистически, а вот «Время и мы» — журнал капиталистический, поэтому он и смог продержаться четверть века. Но шли годы, и мало-помалу я стал ощущать ущербность своей «теории победившего капитализма». Может быть, от того, что, живя на Западе, я стал разочаровываться в самом капитализме. Если бы можно было прожить безо всяких эмоций, на чистом материальном интересе, по принципу выживает сильнейший, то не было бы системы лучше капиталистической — но вот беда — человеку нужно еще и человеческое и от этого никуда не уйти. Я выбрал оптимальный статус, наиболее эффективный, наиболее экономичный, но все же не без тоски вспоминал времена, когда были вокруг меня люди, интеллектуальные бои, было, с кем схватиться, кого выслушать, кого послать подальше... В российской печати нет капитализма, в ней мало эффективности, но есть что-то другое, что есть вообще в России, и к чему я на склоне лет почувствовал плохо объяснимую тягу.

М.Р. Насколько мне известно, начиная с конца 1998 года, журнал выходит в Москве. Кажется, это уже не

первая попытка перенести место его издания в Россию...

В.П. Вы правы, первая попытка была предпринята шесть лет назад, в 1993 году.

М.Р. Но и чем она закончилась? И попутно еще один вопрос: что вами двигало тогда, когда вы решили издавать журнал в России?

В.П. Давайте по порядку. Вы спрашиваете, чем кончилась первая попытка? Полным провалом. Какие мотивы мной двигали? Это тоже непросто. Сам себе я говорил, что в эмиграции у журнала нет будущего, тиражи падают, подписка сокращается. Все это была правда, но не вся правда. Думаю, что внутреннее чувство, которое меня толкнуло на этот шаг и в котором я сам себе не признавался, было сродни тоске, о которой говорилось выше. Нет, конечно, не по русским березкам и не по арбатским переулкам... Это была ностальгия другого рода — по родному языку, трагедия, переживаемая каждым русским писателем, оказавшимся в эмиграции. Мне еще в Израиле говорили, что я, как израильский журналист, должен по примеру Эфраима Кишона быстрее переходить на иврит. Был я тогда обозревателем газеты «Аль Гашимар» и в дни войны Судного дня выезжал по ее заданиям на Голандские высоты, где шли ожесточенные бои с сирийцами. Но писал по-русски и в редакции меня переводили на иврит. Однажды, по просьбе редактора Марека Гефена, я пересилил себя и попробовал написать заметку на иврите. Сидел дни и ночи и сдал заметку редактору. После этого он меня вызвал и сказал, что он от всего сердца поздравляет, но в дальнейшем все-таки просит, чтобы я писал по-русски. Сказать, что я просто люблю русский язык — еще ничего не сказать. В этом месте позвольте мне еще раз процитировать уже упомянутого мной писателя и бывшего зека Бориса Хазанова. «Я знаю, писал он уже в эмиграции, что, когда я буду лежать на дне сырой и скользкой ямы на Востряковском кладбище, под дождем, похожим на лошадиную мочу, то и тогда мне будут сниться бесконечные дороги, лагерные частокоты, опе-

ративные уполномоченные, стукачи и пьяницы, Меня будет преследовать кошмарный сон о стране, которая, подобно доисторическим животным, погибла от того, что была слишком большой, но последние слова, которые я оставляю ей, будут написаны по-русски... Вообразить себя в среде, где умолкла русская речь, я не в силах. Русский язык — это и есть для меня мое единственное отечество. Только в этом невидимом граде я могу обитать».

Уезжая в мае 1993 года в Россию, я, конечно, отдавал себе отчет в том, что никто меня с распростертыми объятиями не ждет. Но что встретят так, как встретили, даже я со своим природным пессимизмом представить не мог. Не стану на этот счет распространяться, а представлю лишь несколько живых картинок из моей московской одиссеи. (В свое время читатель уже имел случай с ними познакомиться). Итак, напечатав в Пятой московской типографии, на Переяславке, очередной, 123 номер журнала, я не без некоторого волнения, с пачкой в руках, являюсь в книжный магазин на Остоженку. Не нужно мне было ни денег, ничего, я просто хотел, чтобы москвичи получили возможность увидеть журнал «Время и мы» вернувшимся в Россию. Ах, как я был наивен! Как плохо знал мир, в котором прожил большую часть жизни! Не успел я развернуть пачку, сказав, что я только вчера из Нью-Йорка и хочу предложить «Время и мы» на комиссию, как услышал: «Что, журнал? Нет, нет это мы не берем!» — отрезала товаровед и крикнула кому-то за перегородкой (по-видимому, директорше): «Нина Ивановна! Тут к нам какой-то американец явился, журналы предлагает. Я его спросила: «А накладная есть?» Так, он даже не знает, что это такое! В общем так, мужчина, за накладную с вас 700 рублей и кладите товар вон в тот угол! Через неделю не продается, забирайте назад. Место деньги стоит!»

Пресса тоже не осталась безучастной. Мой знакомый, обещавший опубликовать о журнале материал в «Московских новостях», сказал, чтобы я читал следующий номер. Весь номер был посвящен приезду Солже-

ницына. И лишь на последней полосе в самом низу, я нашел десятистрочную заметку о журнале, заметка называлась: «Еще один возвращенец».

В конце концов я оказался в лапах одной районной мафии, возле «Сокола», которая, проведав о появлении американского редактора, стала навязывать мне свою крышу. Никакие объяснения о безденежье журнала не принимались. («Что не зарабатываете? Если бы не зарабатывали, то не приезжали бы!») Потом спросили, каким я отделом заведу. Я ответил, что никаким отделом не заведу и, вообще, я в журнале один. Услышав это, их «главный» подозрительно оглядел меня и, покрутив указательным пальцем у виска, сказал, что я могу быть свободен, но в конце вежливо заметил: «А журналчик-то, вполне, вполне... Может, десяточек на память оставите?» Что там ни говорите, а все же нашлось место, где к журналу «Время и мы» проявили интерес...

М. Р. И несмотря на все это, журнал опять в Москве?

В.П. Да, опять. Скажете, где логика? Отвечаю: логики нету, а что есть? Однажды я уже приводил эту латинскую поговорку, врезавшуюся мне в память еще с институтских лет, когда наш преподаватель латыни Гавриленко подарил мне маленькую самодельную книжицу мудрых изречений римских ораторов. Книжица открывалась изречением Цицерона (из которого я, впрочем, сделал противоположный вывод): «Cuiusque hominis est errare nullius nisi insipientis in errore perserverare». Каждому человеку свойственно заблуждаться, но только безумец упорствует в своих заблуждениях. В своем упорстве видеть журнал в России я, видно, и впрямь безумец. Но человек до последних дней остается самим собой и тут уж ничего не поделаешь. Тем более, теперь я в Москве не один, а нас — целый коллектив и редакторов, и авторов, благодаря которым в журнале зазвучали живые российские голоса...

М.Р. И в заключение: кем вы себя больше считаете — редактором или литератором?

В.П. В моем сознании эти понятия неразделимы. Когда я читаю какой-то текст, я вживаюсь в него, рас-

сматриваю его как мой личный, писательский текст. Как мое детище — и автора, и мое — одновременно, только так и можно делать настоящий журнал.

М.Р. Но все-таки о ваших личных сочинениях..

В.П. ...которых, кстати, всего лишь три, в отличие от 143-х томов журнала «Время и мы». Это — «Покинутая Россия», написанная еще в Москве, затем появившиеся уже в эмиграции «Театр абсурда» и «Грехопадение Цезаря». Писал я их в разные годы, независимо друг от друга, но они все чаще мне кажутся трилогией, хоть и не связаны ни сюжетом, ни общим замыслом... Просто развитие в них событий — это развитие моей жизни, моего духа, умонастроений. Перефразируя Пруста, я даже мог бы предложить для всех трех один заголовок: не «В поисках утраченного времени», как у Пруста, а «В поисках самого себя». «Покинутая Россия» — это романтическая молодость, поиск места под солнцем совсем не в том мире, где я вырос. «Театр абсурда» — это разочарование в идеалах и нескончаемая ирония по поводу мира, на который возлагалось столько надежд. «Грехопадение Цезаря» — единственный роман из всей трилогии — это новое отрицание и попытка вернуться к прошлому. Попытка абсолютно тщетная. Потому что, как все мы знаем, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так же, как нельзя нагнать упущенное время. Знакомая гегелевская триада, но истина в ней не познает самое себя. Истину можно всю жизнь искать, но, невозможно найти, так же, как невозможно поймать за хвост вечно ускользаемую из рук сказочную жар-птицу. Мне кажется, что я заподозрил это еще в детстве, когда мама первый раз привела меня во МХАТ, и там я с горящими от восторга глазами смотрел «Синюю птицу» Метерлинка. Но, естественно, своему детскому опыту не доверился и продолжал биться о стену лбом и искать в этом далеко не лучшем из миров. Тем, наверное, и закончу жизнь, ничуть, впрочем, не жалея о набитых шишках и синяках.